



# ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

### I

Не утерпев, я сел записывать эту историю моих первых шагов на жизненном поприще, тогда как мог бы обойтись и без того. Одно знаю наверно: никогда уже более не сяду писать мою автобиографию, даже если проживу до ста лет. Надо быть слишком подло влюбленным в себя, чтобы писать без стыда о самом себе. Тем только себя извиняю, что не для того пишу, для чего все пишут, то есть не для похвал читателя. Если я вдруг вздумал записать слово в слово всё, что случилось со мной с прошлого года, то вздумал это вследствие внутренней потребности: до того я поражен всем совершившимся. Я записываю лишь события, уклоняясь всеми силами от всего постороннего, а главное — от литературных красот; литератор пишет тридцать лет и в конце совсем не знает, для чего он писал столько лет. Я — не литератор, литератором быть не хочу и тащить внутренность души моей и красивое описание чувств на их литературный рынок почел бы неприличием и подлостью. С досадой, однако, предчувствую, что, кажется, нельзя обойтись совершенно без описания чувств и без размышлений (может быть, даже пошлых): до того развратительно действует на человека всякое литературное занятие, хотя бы и предпринимаемое единственно для себя. Размышления же могут быть даже очень пошлы, потому что то, что сам ценишь, очень возможно, не имеет никакой цены на посторонний взгляд. Но всё это в сторону. Однако вот и предисловие; более, в этом роде, ничего не будет. К делу; хотя ничего нет мудренее, как приступить к какому-нибудь делу, — может быть, даже и ко всякому делу.

## II

Я начинаю, то есть я хотел бы начать, мои записки с девятнадцатого сентября прошлого года, то есть ровно с того дня, когда я в первый раз встретил...

Но объяснить, кого я встретил, так, заранее, когда никто ничего не знает, будет пошло; даже, я думаю, и тон этот пошел: дав себе слово уклоняться от литературных красот, я с первой строки впадаю в эти красоты. Кроме того, чтобы писать толково, кажется, мало одного желания. Замечу тоже, что, кажется, ни на одном европейском языке не пишется так трудно, как на русском. Я перечел теперь то, что сейчас написал, и вижу, что я гораздо умнее написанного. Как это так выходит, что у человека умного высказанное им гораздо глупее того, что в нем остается? Я это не раз замечал за собой и в моих словесных отношениях с людьми за весь этот последний роковой год и много мучился этим.

Я хоть и начну с девятнадцатого сентября, а все-таки вставлю слова два о том, кто я, где был до того, а стало быть, и что могло быть у меня в голове хоть отчасти в то утро девятнадцатого сентября, чтоб было понятнее читателю, а может быть, и мне самому.

## III

Я — кончивший курс гимназист, а теперь мне уже двадцать первый год. Фамилия моя Долгорукий, а юридический отец мой — Макар Иванов Долгорукий, бывший дворовый господ Версиловых. Таким образом, я — законнорожденный, хотя я, в высшей степени, незаконный сын, и происхождение мое не подвержено ни малейшему сомнению. Дело произошло таким образом: двадцать два года назад помещик Версилов (это-то и есть мой отец), двадцати пяти лет, посетил свое имение в Тульской губернии. Я предполагаю, что в это время он был еще чем-то весьма безличным. Любопытно, что этот человек, столь поразивший меня с самого детства, имевший такое капитальное влияние на склад всей души моей и даже, может быть, еще надолго заразивший собою всё мое будущее, этот человек даже и теперь в чрезвычайно многом остается для меня совершенную загадкой. Но, собственно, об

этом после. Этого так не расскажешь. Этим человеком и без того будет наполнена вся тетрадь моя.

Он как раз к тому времени овдовел, то есть к двадцати пяти годам своей жизни. Женат же был на одной из высшего света, но не так богатой, Фанариотовой, и имел от нее сына и дочь. Сведения об этой, столь рано его оставившей, супруге довольно у меня неполны и теряются в моих материалах; да и много из частных обстоятельств жизни Версилова от меня ускользнуло, до того он был всегда со мною горд, высокомерен, замкнут и небрежен, несмотря, минутами, на поражающее как бы смирение его передо мною. Упоминаю, однако же, для обозначения впредь, что он прожил в свою жизнь три состояния, и весьма даже крупные, всего тысяч на четыреста с лишком и, пожалуй, более. Теперь у него, разумеется, ни копейки...

Приехал он тогда в деревню «бог знает зачем», по крайней мере сам мне так впоследствии выразился. Маленькие дети его были не при нем, по обыкновению, а у родственников; так он всю жизнь поступал с своими детьми, с законными и незаконными. Дворовых в этом имении было значительно много; между ними был и садовник Макар Иванов Долгорукий. Вставляю здесь, чтобы раз навсегда отвязаться: редко кто мог столько вылизаться на свою фамилию, как я, в продолжение всей моей жизни. Это было, конечно, глупо, но это было. Каждый-то раз, как я вступал куда-либо в школу или встречался с лицами, которым, по возрасту моему, был обязан отчетом, одним словом, каждый-то учителяшка, гувернер, инспектор, поп — все, кто угодно, спрося мою фамилию и услышав, что я Долгорукий, непременно находили для чего-то нужным прибавить:

— Князь Долгорукий?

И каждый-то раз я обязан был всем этим праздным людям объяснять:

— Нет, *просто* Долгорукий.

Это *просто* стало сводить меня наконец с ума. Замечу при сем, в виде феномена, что я не помню ни одного исключения: все спрашивали. Иным, по-видимому, это совершенно было не нужно; да и не знаю, к какому бы черту это могло быть хоть кому-нибудь нужно? Но все спрашивали, все до единого. Услышав, что я *просто* Долгорукий, спрашивавший обыкновенно обмеривал меня тупым и глупо-равнодушным взглядом, свидетельствующим, что он

сам не знает, зачем спросил, и отходил прочь. Товарищи-школьники спрашивали всех оскорбительнее. Школьник как спрашивает новичка? Затерявшийся и конфузющийся новичок, в первый день поступления в школу (в какую бы то ни было), есть общая жертва: ему приказывают, его дразнят, с ним обращаются как с лаксем. Здоровый и жирный мальчишка вдруг останавливается перед своей жертвой, в упор и долгим, строгим и надменным взглядом наблюдает ее несколько мгновений. Новичок стоит перед ним молча, косится, если не трус, и ждет, что-то будет.

— Как твоя фамилия?

— Долгорукий.

— Князь Долгорукий?

— Нет, просто Долгорукий.

— А, просто! Дурак.

И он прав: ничего нет глупее, как называться Долгоруким, не будучи князем. Эту глупость я таскаю на себе без вины. Впоследствии, когда я стал уже очень сердиться, то на вопрос: ты князь? всегда отвечал:

— Нет, я — сын дворового человека, бывшего крепостного.

Потом, когда уж я в последней степени озлился, то на вопрос: вы князь? твердо раз ответил:

— Нет, просто Долгорукий, незаконный сын моего бывшего барина, господина Версилова.

Я выдумал это уже в шестом классе гимназии, и хоть вскорости несомненно убедился, что глуп, но все-таки не сейчас перестал глупить. Помню, что один из учителей — впрочем, он один и был — нашел, что я «полон мстительной и гражданской идеи». Вообще же приняли эту выходку с какою-то обидною для меня задумчивостью. Наконец один из товарищей, очень едкий малый и с которым я всего только в год раз разговаривал, с серьезным видом, но несколько смотря в сторону, сказал мне:

— Такие чувства вам, конечно, делают честь, и, без сомнения, вам есть чем гордиться; но я бы на вашем месте все-таки не очень праздновал, что незаконнорожденный... а вы точно именинник!

С тех пор я перестал *хвалиться*, что незаконнорожденный.

Повторю, очень трудно писать по-русски: я вот исписал целых три страницы о том, как я злился всю жизнь

за фамилию, а между тем читатель наверно уж вывел, что злюсь-то я именно за то, что я не князь, а просто Долго-рукий. Объясняться еще раз и оправдываться было бы для меня унижительно.

#### IV

Итак, в числе этой дворни, которой было множество и кроме Макара Иванова, была одна девица, и была уже лет восемнадцати, когда пятидесятилетний Макар Долго-рукий вдруг обнаружил намерение на ней жениться. Браки дворовых, как известно, происходили во времена крепостного права с дозволения господ, а иногда и прямо по распоряжению их. При имении находилась тогда тетушка; то есть она мне не тетушка, а сама помещица; но, не знаю почему, все всю жизнь ее звали тетушкой, не только моей, но и вообще, равно как и в семействе Версилова, которому она чуть ли и в самом деле не сродни. Это — Татьяна Павловна Пруткова. Тогда у ней еще было в той же губернии и в том же уезде тридцать пять своих душ. Она не то что управляла, но по соседству надзирала над имением Версилова (в пятьсот душ), и этот надзор, как я слышал, стоил надзора какого-нибудь управляющего из ученых. Впрочем, до знаний ее мне решительно нет дела; я только хочу прибавить, откинув всякую мысль лести и заискивания, что эта Татьяна Павловна — существо благородное и даже оригинальное.

Вот она-то не только не отклонила супружеские наклонности мрачного Макара Долгорукого (говорили, что он был тогда мрачен), но, напротив, для чего-то в высшей степени их поощрила. Софья Андреева (эта восемнадцатилетняя дворовая, то есть мать моя) была круглою сиротою уже несколько лет; покойный же отец ее, чрезвычайно уважавший Макара Долгорукого и ему чем-то обязанный, тоже дворовый, шесть лет перед тем, помирая, на одре смерти, говорят даже, за четверть часа до последнего издыхания, так что за нужду можно бы было принять и за бред, если бы он и без того не был неспособен, как крепостной, подозревая Макара Долгорукого, при всей дворне и при присутствовавшем священнике, завещал ему вслух и настоятельно, указывая на дочь: «Взрасти и возьми за себя».

Это все слышали. Что же до Макара Иванова, то не знаю, в каком смысле он потом женился, то есть с большим ли удовольствием или только исполняя обязанность. Вероятнее, что имел вид полного равнодушия. Это был человек, который и тогда уже умел «показать себя». Он не то чтобы был начетчик или грамотей (хотя знал церковную службу всю и особенно житие некоторых святых, но более понаслышке), не то чтобы был вроде, так сказать, дворового резонера, он просто был характера упрямого, подчас даже рискованного; говорил с амбицией, судил бесповоротно и, в заключение, «жил почтительно», — по собственному удивительному его выражению, — вот он каков был тогда. Конечно, уважение он приобрел всеобщее, но, говорят, был всем несносен. Другое дело, когда вышел из дворни: тут уж его не иначе поминали как какого-нибудь святого и много претерпевшего. Об этом я знаю наверно.

Что же до характера моей матери, то до восемнадцати лет Татьяна Павловна продержала ее при себе, несмотря на настояния приказчика отдать в Москву в ученье, и дала ей некоторое воспитание, то есть научила шить, кроить, ходить с девичьими манерами и даже слегка читать. Писать моя мать никогда не умела сносно. В глазах ее этот брак с Макаром Ивановым был давно уже делом решенным, и всё, что тогда с нею произошло, она нашла превосходным и самым лучшим; под венец пошла с самым спокойным видом, какой только можно иметь в таких случаях, так что сама уж Татьяна Павловна назвала ее тогда рыбой. Всё это о тогдашнем характере матери я слышал от самой же Татьяны Павловны. Версилов приехал в деревню ровно полгода спустя после этой свадьбы.

## V

Я хочу только сказать, что никогда не мог узнать и удовлетворительно догадаться, с чего именно началось у него с моей матерью. Я вполне готов верить, как уверял он меня прошлого года сам, с краской в лице, несмотря на то что рассказывал про всё это с самым непринужденным и «остроумным» видом, что романа никакого не было вовсе и что всё вышло *так*. Верю, что так, и русское словцо это: *так* — прелестно; но все-таки мне всегда хо-

телось узнать, с чего именно у них могло произойти. Сам я ненавидел и ненавижу все эти мерзости всю мою жизнь. Конечно, тут вовсе не одно только бесстыжее любопытство с моей стороны. Замечу, что мою мать я, вплоть до прошлого года, почти не знал вовсе; с детства меня отдали в люди, для комфорта Версилова, об чем, впрочем, после; а потому я никак не могу представить себе, какое у нее могло быть в то время лицо. Если она вовсе не была так хороша собой, то чем мог в ней прельститься такой человек, как тогдашний Версильов? Вопрос этот важен для меня тем, что в нем чрезвычайно любопытною стороною рисуется этот человек. Вот для чего я спрашиваю, а не из разврата. Он сам, этот мрачный и закрытый человек, с тем милым простодушием, которое он черт знает откуда брал (точно из кармана), когда видел, что это необходимо, — он сам говорил мне, что тогда он был весьма «глупым молодым щенком» и не то что сентиментальным, а *так*, только что прочел «Антон Горемыку» и «Полиньку Сакс» — две литературные вещи, имевшие необъятное цивилизующее влияние на тогдашнее подрастающее поколение наше. Он прибавлял, что из-за «Антон Горемыки», может, и в деревню тогда приехал, — и прибавлял чрезвычайно серьезно. В какой же форме мог начать этот «глупый щенок» с моей матерью? Я сейчас вообразил, что если б у меня был хоть один читатель, то наверно бы расхохотался надо мной, как над смешнейшим подростком, который, сохранив свою глупую невинность, суется рассуждать и решать, в чем не смыслит. Да, действительно, я еще не смыслю, хотя сознаюсь в этом вовсе не из гордости, потому что знаю, до какой степени глупа в двадцатилетнем верзиле такая неопытность; только я скажу этому господину, что он сам не смыслит, и докажу ему это. Правда, в женщинах я ничего не знаю, да и знать не хочу, потому что всю жизнь буду плевать и дал слово. Но я знаю, однако же, наверно, что иная женщина обольщает красотой своей, или там чем знает, в тот же миг; другую же надо полгода разжевывать, прежде чем понять, что в ней есть; и чтобы рассмотреть такую и влюбиться, то мало смотреть и мало быть просто готовым на что угодно, а надо быть, сверх того, чем-то еще одаренным. В этом я убежден, несмотря на то что ничего не знаю, и если бы было противное, то надо бы было разом низвести всех



женщин на степень простых домашних животных и в таком только виде держать их при себе; может быть, этого очень многим хотелось бы.

Я знаю из нескольких рук положительно, что мать моя красавицей не была, хотя тогдашнего портрета ее, который где-то есть, я не видал. С первого взгляда в нее влюбиться, стало быть, нельзя было. Для простого «развлечения» Версилов мог выбрать другую, и такая там была, да еще незамужняя, Анфиса Константиновна Сапожкова, сенная девушка. А человеку, который приехал с «Антоном Горемыкой», разрушать, на основании помещичьего права, святость брака, хотя и своего дворового, было бы очень зазорно перед самим собою, потому что, повторяю, про этого «Антон Горемыку» он еще не далее как несколько месяцев тому назад, то есть двадцать лет спустя, говорил чрезвычайно серьезно. Так ведь у Антона только лошадь увели, а тут жену! Произошло, значит, что-то особенное, отчего и проиграла mademoiselle Сапожкова (по-моему, выиграла). Я приставал к нему раз-другой прошлого года, когда можно было с ним разговаривать (потому что не всегда можно было с ним разговаривать), со всеми этими вопросами и заметил, что он, несмотря на всю свою светскость и двадцатилетнее расстояние, как-то чрезвычайно кривился. Но я настоял. По крайней мере с тем видом светской безгливости, которую он неоднократно себе позволял со мною, он, я помню, однажды промямлил как-то странно: что мать моя была одна такая особа из *незащищенных*, которую не то что полюбишь, — напротив, вовсе нет, — а как-то вдруг почему-то *пожалеешь*, за кротость, что ли, впрочем, за что? — это всегда никому не известно, но пожалеешь надолго; пожалеешь и привяжешься... «Одним словом, мой милый, иногда бывает так, что и не отвяжешься». Вот что он сказал мне; и если это действительно было так, то я принужден почесть его вовсе не таким тогдашним глупым щенком, каким он сам себя для того времени аттестует. Это-то мне и надо было.

Впрочем, он тогда же стал уверять, что мать моя любила его по «приниженности»: еще бы выдумал, что по крепостному праву! Соврал для шику, соврал против совести, против чести и благородства!

Всё это, конечно, я наговорил в какую-то как бы похвалу моей матери, а между тем уже заявил, что о ней,

тогдашней, не знал вовсе. Мало того, я именно знаю всю непроходимость той среды и тех жалких понятий, в которых она зачерствела с детства и в которых осталась потом на всю жизнь. Тем не менее беда совершилась. Кстати, надо поправиться: улетев в облака, я забыл об факте, который, напротив, надо бы выставить прежде всего, а именно: началось у них прямо *с беды*. (Я надеюсь, что читатель не до такой степени будет ломаться, чтоб не понять сразу, об чем я хочу сказать.) Одним словом, началось у них именно по-помещичьи, несмотря на то что была обойдена mademoiselle Сапожкова. Но тут уже я вступлюсь и заранее объявляю, что вовсе себе не противоречу. Ибо об чем, о господи, об чем мог говорить в то время такой человек, как Версилов, с такою особою, как моя мать, даже и в случае самой неотразимой любви? Я слышал от развратных людей, что весьма часто мужчина, с женщиной сходясь, начинает совершенно молча, что, конечно, верх чудовищности и тошноты; тем не менее Версилов, если б и хотел, то не мог бы, кажется, иначе начать с моею матерью. Неужели же начать было объяснять ей «Полиньку Сакс»? Да и сверх того, им было вовсе не до русской литературы; напротив, по его же словам (он как-то раз расхотился), они прятались по углам, поджидали друг друга на лестницах, отскакивали как мячики, с красными лицами, если кто проходил, и «тиран помещик» трепетал последней поломойки, несмотря на всё свое крепостное право. Но хоть и по-помещичьи началось, а вышло так, да не так, и, в сущности, все-таки ничего объяснить нельзя. Даже мраку больше. Уж одни размеры, в которые развилась их любовь, составляют загадку, потому что первое условие таких, как Версилов, — это тотчас же бросить, если достигнута цель. Не то, однако же, вышло. Согрешить с миловидной дворовой вертушкой (а моя мать не была вертушкой) развратному «молодому щенку» (а они были все развратны, все до единого — и прогрессисты, и ретрограды) — не только возможно, но и неминуемо, особенно взяв романическое его положение молодого вдовца и его бездельничанье. Но полюбить на всю жизнь — это слишком. Не ручаюсь, что он любил ее, но что он таскал ее за собою всю жизнь — это верно.

Вопросов я наставил много, но есть один самый важный, который, замечу, я не осмелился прямо задать моей

матери, несмотря на то что так близко сошелся с нею прошлого года и, сверх того, как грубый и неблагодарный шенок, считающий, что *перед ним виноваты*, не церемонился с нею вовсе. Вопрос следующий: как она-то могла, она сама, уже бывшая полгода в браке, да еще придавленная всеми понятиями о законности брака, придавленная, как бессильная муха, она, уважавшая своего Макара Ивановича не меньше чем какого-то бога, как она-то могла, в какие-нибудь две недели, дойти до такого греха? Ведь не развратная же женщина была моя мать? Напротив, скажу теперь вперед, что быть более чистой душой, и так потом во всю жизнь, даже трудно себе и представить. Объяснить разве можно тем, что сделала она не помня себя, то есть не в том смысле, как уверяют теперь адвокаты про своих убийц и воров, а под тем сильным впечатлением, которое, при известном простодушии жертвы, овладевает фатально и трагически. Почему знать, может быть, она полюбила до смерти... фасон его платья, парижский пробор волос, его французский выговор, именно французский, в котором она не понимала ни звука, тот романс, который он спел за фортепьяно, полюбила нечто никогда не виданное и не слыханное (а он был очень красив собою), и уж заодно полюбила, прямо до изнеможения, всего его, с фасонами и романсами. Я слышал, что с дворовыми девушками это иногда случалось во времена крепостного права, да еще с самыми честными. Я это понимаю, и подлец тот, который объяснит это лишь одним только крепостным правом и «приниженностью»! И так, мог же, стало быть, этот молодой человек иметь в себе столько самой прямой и обольстительной силы, чтобы привлечь такое чистое до тех пор существо и, главное, такое совершенно разнородное с собою существо, совершенно из другого мира и из другой земли, и на такую явную гибель? Что на гибель — это-то и мать моя, надеюсь, понимала всю жизнь; только разве когда шла, то не думала о гибели вовсе; но так всегда у этих «беззащитных»: и знают, что гибель, а лезут.

Согрепив, они тотчас покаялись. Он с остроумием рассказывал мне, что рыдал на плече Макара Ивановича, которого нарочно призвал для сего случая в кабинет, а она — она в то время лежала где-то в забытии, в своей дворовой клетушке...

## VI

Но довольно о вопросах и скандальных подробностях. Версилов, выкупив мою мать у Макара Иванова, вскорости уехал и с тех пор, как я уже и прописал выше, стал ее таскать за собою почти повсюду, кроме тех случаев, когда отлучался подолгу; тогда оставлял большею частью на попечении тетушки, то есть Татьяны Павловны Прутковой, которая всегда откуда-то в таких случаях подвергывалась. Живали они и в Москве, живали по разным другим деревням и городам, даже за границей и, наконец, в Петербурге. Обо всем этом после или не стоит. Скажу лишь, что год спустя после Макара Ивановича явился на свете я, затем еще через год моя сестра, а затем уже лет десять или одиннадцать спустя — болезненный мальчик, младший брат мой, умерший через несколько месяцев. С мучительными родами этого ребенка кончилась красота моей матери, — так по крайней мере мне сказали: она быстро стала стареть и хилеть.

Но с Макаром Ивановичем сношения все-таки никогда не прекращались. Где бы Версиловы ни были, жили ли по несколько лет на месте или переезжали, Макар Иванович непременно уведомлял о себе «семейство». Образовались какие-то странные отношения, отчасти торжественные и почти серьезные. В господском быту к таким отношениям непременно примешалось бы нечто комическое, я это знаю; но тут этого не вышло. Письма присылались в год по два раза, не более и не менее, и были чрезвычайно одно на другое похожие. Я их видел; в них мало чего-нибудь личного; напротив, по возможности одни только торжественные извещения о самых общих событиях и о самых общих чувствах, если так можно выразиться о чувствах: извещения прежде всего о своем здоровье, потом опросы о здоровье, затем пожелания, торжественные поклоны и благословения — и всё. Именно в этой общности и безличности и полагается, кажется, вся порядочность тона и всё высшее знание обращения в этой среде. «Достолюбезной и почтенной супруге нашей Софье Андреевне посылаю наш нижайший поклон»... «Любезным деткам нашим посылаю родительское благословение наше вовеки нерушимое». Детки все прописывались поименно, по мере их накопления, и я тут же. При этом замечу, что Макар Иванович был настолько остроумен,

что никогда не прописывал «его высокородия достопочтеннейшего господина Андрея Петровича» своим «благодетелем», хотя и прописывал неуклонно в каждом письме свой всенижайший поклон, испрашивая у него милости, а на самого его благословение Божие. Ответы Макару Ивановичу посылались моею матерью вскорости и всегда писались в таком же точно роде. Версилов, разумеется, в переписке не участвовал. Писал Макар Иванович из разных концов России, из городов и монастырей, в которых подолгу иногда проживал. Он стал так называемым странником. Никогда ни о чем не просил; зато раз года в три непременно являлся домой на побывку и останавливался прямо у матери, которая, всегда так приходилось, имела свою квартиру, особую от квартиры Версилова. Об этом мне придется после сказать, но здесь лишь замечу, что Макар Иванович не разваливался в гостиной на диванах, а скромно помещался где-нибудь за перегородкой. Проживал недолго, дней пять, неделю.

Я забыл сказать, что он ужасно любил и уважал свою фамилию «Долгорукий». Разумеется, это — смешная глупость. Всего глупее то, что ему нравилась его фамилия именно потому, что есть князья Долгорукие. Странное понятие, совершенно вверх ногами!

Если я и сказал, что всё семейство всегда было в сборе, то кроме меня, разумеется. Я был как выброшенный и чуть не с самого рождения помещен в чужих людях. Но тут не было никакого особенного намерения, а просто как-то так почему-то вышло. Родив меня, мать была еще молода и хороша, а стало быть, нужна ему, а крикун ребенок, разумеется, был всему помехою, особенно в путешествиях. Вот почему и случилось, что до двадцатого года я почти не видал моей матери, кроме двух-трех случаев мельком. Произошло не от чувств матери, а от высокомерия к людям Версилова.

## VII

Теперь совсем о другом.

Месяц назад, то есть за месяц до девятнадцатого сентября, я, в Москве, порешил отказаться от них всех и уйти в свою идею уже окончательно. Я так и прописываю это

слово: «уйти в свою идею», потому что это выражение может обозначить почти всю мою главную мысль — то самое, для чего я живу на свете. Что это за «своя идея», об этом слишком много будет потом. В уединении мечтательной и многолетней моей московской жизни она создалась у меня еще с шестого класса гимназии и с тех пор, может быть, ни на миг не оставляла меня. Она поглотила всю мою жизнь. Я и до нее жил в мечтах, жил с самого детства в мечтательном царстве известного оттенка; но с появлением этой главной и всё поглотившей во мне идеи мечты мои скрепились и разом отлились в известную форму: из глупых сделались разумными. Гимназия мечтам не мешала; не помешала и идее. Прибавлю, однако, что я кончил гимназический курс в последнем году плохо, тогда как до седьмого класса всегда был из первых, а случилось это вследствие той же идеи, вследствие вывода, может быть ложного, который я из нее вывел. Таким образом, не гимназия помешала идее, а идея помешала гимназии, помешала и университету. Кончив гимназию, я тотчас же вознамерился не только порвать со всеми радикально, но если надо, то со всем даже миром, несмотря на то что мне был тогда всего только двадцатый год. Я написал кому следует, через кого следует в Петербург, чтобы меня окончательно оставили в покое, денег на содержание мое больше не присылали и, если возможно, чтоб забыли меня вовсе (то есть, разумеется, в случае, если меня сколько-нибудь помнили), и, наконец, что в университет я «ни за что» не поступлю. Дилемма стояла передо мной неотразимая: или университет и дальнейшее образование, или отдалить немедленное приложение «идеи» к делу еще на четыре года; я бестрепетно стал за идею, ибо был математически убежден. Версилов, отец мой, которого я видел всего только раз в моей жизни, на миг, когда мне было всего десять лет (и который в один этот миг успел поразить меня), Версилов, в ответ на мое письмо, не ему, впрочем, посланное, сам вызвал меня в Петербург собственноручным письмом, обещая частное место. Этот вызов человека, сухого и гордого, ко мне высокомерного и небрежного и который до сих пор, родив меня и бросив в люди, не только не знал меня вовсе, но даже в этом никогда не раскаивался (кто знает, может быть, о самом существовании моем имел понятие смутное и неточное, так как оказалось потом, что и деньги не он платил за

содержание мое в Москве, а другие), вызов этого человека, говорю я, так вдруг обо мне вспомнившего и удостоившего собственноручным письмом, — этот вызов, прельстив меня, решил мою участь. Странно, мне, между прочим, понравилось в его письмеце (одна маленькая страничка малого формата), что он ни слова не упомянул об университете, не просил меня переменить решение, не укорял, что не хочу учиться, — словом, не выставлял никаких родительских финтифлюшек в этом роде, как это бывает по обыкновению, а между тем это-то и было худо с его стороны в том смысле, что еще пуще обозначало его ко мне небрежность. Я решился ехать еще и потому, что это вовсе не мешало моей главной мечте. «Посмотрю, что будет, — рассуждал я, — во всяком случае я связываюсь с ними только на время, может быть, на самое малое. Но чуть увижу, что этот шаг, хотя бы и условный и малый, все-таки отдалит меня от *главного*, то тотчас же с ними порву, брошу всё и уйду в свою скорлупу». Именно в скорлупу! «Спрячусь в нее, как черепаха»; сравнение это очень мне нравилось. «Я буду не один, — продолжал я раскидывать, ходя как угорелый все эти последние дни в Москве, — никогда теперь уже не буду один, как в столько ужасных лет до сих пор: со мной будет моя идея, которой я никогда не изменю, даже и в том случае, если б они мне все там понравились, и дали мне счастье, и я прожил бы с ними хоть десять лет!» Вот это-то впечатление, замечу вперед, вот именно эта-то двойственность планов и целей моих, определившаяся еще в Москве и которая не оставляла меня ни на один миг в Петербурге (ибо не знаю, был ли такой день в Петербурге, который бы я не ставил впереди моим окончательным сроком, чтобы порвать с ними и удалиться), — эта двойственность, говорю я, и была, кажется, одною из главнейших причин многих моих неосторожностей, наделанных в году, многих мерзостей, многих даже низостей и, уж разумеется, глупостей.

Конечно, у меня вдруг являлся отец, которого никогда прежде не было. Эта мысль пьянила меня и при сборах в Москве, и в вагоне. Что отец — это бы еще ничего, и нежностей я не любил, но человек этот меня знать не хотел и унизил, тогда как я мечтал о нем все эти годы взасос (если можно так о мечте выразиться). Каждая мечта моя, с самого детства, отзывалась им: витала около

него, сводилась на него в окончательном результате. Я не знаю, ненавидел или любил я его, но он наполнял собою всё мое будущее, все расчеты мои на жизнь, — и это случилось само собою, это шло вместе с ростом.

Повлияло на мой отъезд из Москвы и еще одно могущественное обстоятельство, один соблазн, от которого уже и тогда, еще за три месяца пред выездом (стало быть, когда и помину не было о Петербурге), у меня уже поднималось и билось сердце! Меня тянуло в этот неизвестный океан еще и потому, что я прямо мог войти в него властелином и господином даже чужих судеб, да еще чьих! Но великодушные, а не деспотические чувства кипели во мне — предуведомляю заранее, чтоб не вышло ошибки из слов моих. К тому же Версилов мог думать (если только удостоивал обо мне думать), что вот едет маленький мальчик, отставной гимназист, подросток, и удивляется на весь свет. А я меж тем уже знал всю его подноготную и имел на себе важнейший документ, за который (теперь уж я знаю это наверно) он отдал бы несколько лет своей жизни, если б я открыл ему тогда тайну. Впрочем, я замечаю, что наставил загадок. Без фактов чувств не опишешь. К тому же обо всем этом слишком довольно будет на своем месте, затем и перо взял. А так писать — похоже на бред или облако.

## VIII

Наконец, чтобы перейти к девятнадцатому числу окончательно, скажу пока вкратце и, так сказать, мимоходом, что я застал их всех, то есть Версилова, мать и сестру мою (последнюю я увидал в первый раз в жизни), при тяжелых обстоятельствах, почти в нищете или накануне нищеты. Об этом я узнал уж и в Москве, но всё же не предполагал того, что увидал. Я с самого детства привык воображать себе этого человека, этого «будущего отца моего» почти в каком-то сиянии и не мог представить себе иначе, как на первом месте везде. Никогда Версилов не жил с моею матерью на одной квартире, а всегда нанимал ей особенную: конечно, делал это из подлейших ихних «приличий». Но тут все жили вместе, в одном деревянном флигеле, в переулке, в Семеновском полку. Все вещи уже были заложены, так что я даже отдал матери, таинственно от Версилова,



мои таинственные шестьдесят рублей. Именно *таинственные* потому, что были накоплены из карманных денег моих, которых отпускалось мне по пяти рублей в месяц, в продолжение двух лет; копление же началось с первого дня моей «идеи», а потому Версилов не должен был знать об этих деньгах ни слова. Этого я трепетал.

Эта помощь оказалась лишь каплей. Мать работала, сестра тоже брала шитье; Версилов жил праздно, капризился и продолжал жить со множеством прежних, довольно дорогих привычек. Он брюзжал ужасно, особенно за обедом, и все приемы его были совершенно деспотические. Но мать, сестра, Татьяна Павловна и всё семейство покойного Андроникова (одного месяца три перед тем умершего начальника отделения и с тем вместе заправлявшего делами Версилова), состоявшее из бесчисленных женщин, благоговели перед ним, как перед фетишем. Я не мог представить себе этого. Замечу, что девять лет назад он был несравненно изящнее. Я сказал уже, что он остался в мечтах моих в каком-то сиянии, а потому я не мог вообразить, как можно было так постареть и истереться всего только в девять каких-нибудь лет с тех пор: мне тотчас же стало грустно, жалко, стыдно. Взгляд на него был одним из тяжелейших моих первых впечатлений по приезде. Впрочем, он был еще вовсе не старик, ему было всего сорок пять лет; вглядываясь же дальше, я нашел в красоте его даже что-то более поражающее, чем то, что уцелело в моем воспоминании. Меньше тогдашнего блеску, менее внешности, даже изящного, но жизнь как бы оттиснула на этом лице нечто гораздо более любопытное прежнего.

А между тем нищета была лишь десятой или двадцатой долей в его неудачах, и я слишком знал об этом. Кроме нищеты, стояло нечто безмерно серьезнейшее, — не говоря уже о том, что всё еще была надежда выиграть процесс о наследстве, затеянный уже год у Версилова с князьями Сокольскими, и Версилов мог получить в самом ближайшем будущем имение, ценностью в семьдесят, а может, и несколько более тысяч. Я сказал уже выше, что этот Версилов прожил в свою жизнь три наследства, и вот его опять выручало наследство! Дело решалось в суде в самый ближайший срок. Я с тем и приехал. Правда, под надежду денег никто не давал, занять негде было, и пока терпели.

Но Версилов и не ходил ни к кому, хотя иногда уходил на весь день. Уже с лишком год назад как он *выгнан* из общества. История эта, несмотря на все старания мои, оставалась для меня в главнейшем невыясненной, несмотря на целый месяц жизни моей в Петербурге. Виновен или не виновен Версилов — вот что для меня было важно, вот для чего я приехал! Отвернулись от него все, между прочим и все влиятельные знатные люди, с которыми он особенно умел во всю жизнь поддерживать связи, вследствие слухов об одном чрезвычайно низком и — что хуже всего в глазах «света» — скандальном поступке, будто бы совершенном им с лишком год назад в Германии, и даже о пощечине, полученной тогда же слишком гласно, именно от одного из князей Сокольских, и на которую он не ответил вызовом. Даже дети его (законные), сын и дочь, от него отвернулись и жили отдельно. Правда, и сын и дочь витали в самом высшем кругу, чрез Фанариотовых и старого князя Сокольского (бывшего друга Версилова). Впрочем, приглядываясь к нему во весь этот месяц, я видел высокомерного человека, которого не общество исключило из своего круга, а который скорее сам прогнал общество от себя, — до того он смотрел независимо. Но имел ли он право смотреть таким образом — вот что меня волновало! Я непременно должен узнать всю правду в самый ближайший срок, ибо приехал судить этого человека. Свои силы я еще таил от него, но мне надо было или признать его, или оттолкнуть от себя вовсе. А последнее мне было бы слишком тяжело, и я мучился. Сделаю наконец полное признание: этот человек был мне дорог!

А пока я жил с ними на одной квартире, работал и едва удерживался от грубостей. Даже и не удерживался. Прожив уже месяц, я с каждым днем убеждался, что за окончательными разъяснениями ни за что не мог обратиться к нему. Гордый человек прямо стал передо мной загадкой, оскорбившей меня до глубины. Он был со мною даже мил и шутил, но я скорее хотел ссоры, чем таких шуток. Все разговоры мои с ним носили всегда какую-то в себе двусмысленность, то есть попросту какую-то странную насмешку с его стороны. Он с самого начала встретил меня из Москвы несерьезно. Я никак не мог понять, для чего он это сделал. Правда, он достиг того, что остался передо мною непроницаем; но сам я не унизился бы до просьб

о серьезности со мной с его стороны. К тому же у него были какие-то удивительные и неотразимые приемы, с которыми я не знал что делать. Короче, со мной он обращался как с самым зеленым подростком, чего я почти не мог перенести, хотя и знал, что так будет. Вследствие того я сам перестал говорить серьезно и ждал; даже почти совсем перестал говорить. Ждал я одного лица, с приездом которого в Петербург мог окончательно узнать истину; в этом была моя последняя надежда. Во всяком случае приготовился порвать окончательно и уже принял все меры. Мать мне жаль было, но... «или он, или я» — вот что я хотел предложить ей и сестре моей. Даже день у меня был назначен; а пока я ходил на службу.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

В это девятнадцатое число я должен был тоже получить мое первое жалованье за первый месяц моей петербургской службы на моем «частном» месте. Об месте этом они меня и не спрашивали, а просто отдали меня на него, кажется, в самый первый день, как я приехал. Это было очень грубо, и я почти обязан был протестовать. Это место оказалось в доме у старого князя Сокольского. Но протестовать тогда же — значило бы порвать с ними сразу, что хоть вовсе не пугало меня, но вредило моим существенным целям, а потому я принял место покамест молча, молчаньем защитив мое достоинство. Поясню с самого начала, что этот князь Сокольский, богач и тайный советник, нисколько не состоял в родстве с теми московскими князьями Сокольскими (ничтожными бедняками уже несколько поколений сряду), с которыми Версиров вел свою тяжбу. Они были только однофамильцы. Тем не менее старший князь очень ими интересовался и особенно любил одного из этих князей, так сказать их старшего в роде — одного молодого офицера. Версиров еще недавно имел огромное влияние на дела этого старика и был его другом, странным другом, потому что этот бедный князь, как я заметил, ужасно боялся его, не только в то время, как я поступил, но, кажется, и всегда

во всю дружбу. Впрочем, они уже давно не видались; бесчестный поступок, в котором обвиняли Версилова, касался именно семейства князя; но подвернулась Татьяна Павловна, и чрез ее-то посредство я и помещен был к старику, который желал «молодого человека» к себе в кабинет. При этом оказалось, что ему ужасно желалось тоже сделать угодное Версилу, так сказать первый шаг к нему, а Версильов *позволил*. Распорядился же старый князь в отсутствие своей дочери, вдовы-генеральши, которая наверно бы ему не позволила этого шагу. Об этом после, но замечу, что эта-то странность отношений к Версилу и поразила меня в его пользу. Представлялось соображению, что если глава оскорбленной семьи всё еще продолжает питать уважение к Версилу, то, стало быть, нелепы или по крайней мере двусмысленны и распущенные толки о подлости Версильова. Отчасти это-то обстоятельство и заставило меня не протестовать при поступлении: поступая, я именно надеялся всё это проверить.

Эта Татьяна Павловна играла странную роль в то время, как я застал ее в Петербурге. Я почти забыл о ней вовсе и уж никак не ожидал, что она с таким значением. Она прежде встречалась мне раза три-четыре в моей московской жизни и являлась бог знает откуда, по чьему-то поручению, всякий раз когда надо было меня где-нибудь устроить, — при поступлении ли в пансионичко Тушара или потом, через два с половиной года, при переводе меня в гимназию и помещении в квартире незабвенного Николая Семеновича. Появившись, она проводила со мною весь тот день, ревизовала мое белье, платье, разъезжала со мной на Кузнецкий и в город, покупала мне необходимые вещи, устраивала, одним словом, всё мое приданое до последнего сундучка и перочинного ножика; при этом всё время шипела на меня, бранила меня, корила меня, экзаменовала меня, представляла мне в пример других фантастических каких-то мальчиков, ее знакомых и родственников, которые будто бы все были лучше меня, и, право, даже щипала меня, а толкала положительно, даже несколько раз, и больно. Устроив меня и водворив на месте, она исчезала на несколько лет бесследно. Вот она-то, тотчас по моем приезде, и появилась опять водворять меня. Это была сухенькая, маленькая фигурка, с птичьим востреньким носиком и птичьими острыми глазками. Версильову она служила, как раба,

и преклонялась перед ним, как перед папой, но по убеждению. Но скоро я с удивлением заметил, что ее решительно все и везде уважали, и главное — решительно везде и все знали. Старый князь Сокольский относился к ней с необыкновенным почтением; в его семействе тоже; эти гордые дети Версилова тоже; у Фанариотовых тоже, — а между тем она жила шитьем, промыванием каких-то кружев, брала из магазина работу. Мы с нею с первого слова поссорились, потому что она тотчас же вздумала, как прежде, шесть лет тому, шипеть на меня; с тех пор продолжали ссориться каждый день; но это не мешало нам иногда разговаривать, и, признаюсь, к концу месяца она мне начала нравиться; я думаю, за независимость характера. Впрочем, я ее об этом не уведомлял.

Я сейчас же понял, что меня определили на место к этому больному старику затем только, чтоб его «тешить», и что в этом и вся служба. Естественно, это меня унизило, и я тотчас же принял было меры; но вскоре этот старый чудак произвел во мне какое-то неожиданное впечатление, вроде как бы жалости, и к концу месяца я как-то странно к нему привязался, по крайней мере оставил намерение грубить. Ему, впрочем, было не более шестидесяти. Тут вышла целая история. Года полтора назад с ним вдруг случился припадок; он куда-то поехал и в дороге помешался, так что произошло нечто вроде скандала, о котором в Петербурге поговорили. Как следует в таких случаях, его мигом увезли за границу, но месяцев через пять он вдруг опять появился, и совершенно здоровый, хотя и оставил службу. Версиров уверял серьезно (и заметно горячо), что помешательства с ним вовсе не было, а был лишь какой-то нервный припадок. Эту горячность Версирова я немедленно отметил. Впрочем, замечу, что и сам я почти разделял его мнение. Старик казался только разве уж чересчур иногда легкомысленным, как-то не по летам, чего прежде совсем, говорят, не было. Говорили, что прежде он давал какие-то где-то советы и однажды как-то слишком уж отличился в одном возложенном на него поручении. Зная его целый месяц, я никак бы не предположил его особенной силы быть советником. Замечали за ним (хоть я и не заметил), что после припадка в нем развилась какая-то особенная склонность поскорее жениться и что будто бы он уже не раз приступал к этой идее в эти полтора года. Об этом будто бы знали

в свете и, кому следует, интересовались. Но так как это поползновение слишком не соответствовало интересам некоторых лиц, окружавших князя, то старика сторожили со всех сторон. Свое семейство у него было малое; он был вдовцом уже двадцать лет и имел лишь единственную дочь, ту вдову-генеральшу, которую теперь ждали из Москвы ежедневно, молодую особу, характера которой он несомненно боялся. Но у него была бездна разных отдаленных родственников, преимущественно по покойной его жене, которые все были чуть не нищие; кроме того, множество разных его питомцев и им благодетельствованных питомиц, которые все ожидали частички в его завещании, а потому все и помогали генеральше в надзоре за стариком. У него была, сверх того, одна странность, с самого молодого, не знаю только, смешная или нет: выдавать замуж бедных девиц. Он их выдавал уже лет двадцать пять сряду — или отдаленных родственниц, или падчериц каких-нибудь двоюродных братьев своей жены, или крестниц, даже выдал дочку своего швейцара. Он сначала брал их к себе в дом еще маленькими девочками, растил их с гувернантками и француженками, потом обучал в лучших учебных заведениях и под конец выдавал с приданым. Всё это около него теснилось постоянно. Питомицы, естественно, в замужестве нарождали еще девочек, все народившиеся девочки тоже норовили в питомицы, везде он должен был крестить, всё это являлось поздравлять с именинами, и всё это ему было чрезвычайно приятно.

Поступив к нему, я тотчас заметил, что в уме старика гнездились одно тяжелое убеждение — и этого никак нельзя было не заметить, — что все-де как-то странно стали смотреть на него в свете, что все будто стали относиться к нему не так, как прежде, к здоровому; это впечатление не покидало его даже в самых веселых светских собраниях. Старик стал мнителен, стал замечать что-то у всех по глазам. Мысль, что его всё еще подозревают помешанным, видимо его мучила; даже ко мне он иногда приглядывался с недоверчивостью. И если бы он узнал, что кто-нибудь распространяет или утверждает о нем этот слух, то, кажется, этот незлобивейший человек стал бы ему вечным врагом. Вот это-то обстоятельство я и прошу заметить. Прибавлю, что это и решило с первого дня, что я не грубил ему; даже рад был, если приводилось его

иногда развеселить или развлечь; не думаю, чтоб признание это могло положить тень на мое достоинство.

Большая часть его денег находилась в обороте. Он, уже после болезни, вошел участником в одну большую акционерную компанию, впрочем очень солидную. И хоть дела вели другие, но он тоже очень интересовался, посещал собрания акционеров, выбран был в члены-учредители, заседал в советах, говорил длинные речи, опровергал, шумел, и, очевидно, с удовольствием. Говорить речи ему очень понравилось: по крайней мере все могли видеть его ум. И вообще он ужасно как полюбил даже в самой интимной частной жизни вставлять в свой разговор особенно глубокомысленные вещи или бонмо; я это слишком понимаю. В доме, внизу, было устроено вроде домашней конторы, и один чиновник вел дела, счета и книги, а вместе с тем и управлял домом. Этого чиновника, служившего, кроме того, на казенном месте, и одного было бы совершенно достаточно; но, по желанию самого князя, прибавили и меня, будто бы на помощь чиновнику; но я тотчас же был переведен в кабинет и часто, даже для виду, не имел пред собою занятий, ни бумаг, ни книг.

Я пишу теперь, как давно отрезвившийся человек и во многом уже почти как посторонний; но как изобразить мне тогдашнюю грусть мою (которую живо сейчас припомнил), засевшую в сердце, а главное — мое тогдашнее волнение, доходившее до такого смутного и горячего состояния, что я даже не спал по ночам — от нетерпения моего, от загадок, которые я сам себе наставил.

## II

Спрашивать денег — прегадкая история, даже жалованье, если чувствуешь где-то в складках совести, что их не совсем заслужил. Между тем накануне мать, шепчась с сестрой, тихонько от Версилова («чтобы не огорчить Андрея Петровича»), намеревалась снести в заклад из киота образ, почему-то слишком ей дорогой. Служил я на пятидесяти рублях в месяц, но совсем не знал, как я буду их получать; определяя меня сюда, мне ничего не сказали. Дня три назад, встретившись внизу с чиновником, я осведомился у него: у кого здесь спрашивают жалованье?

Тот посмотрел с улыбкой удивившегося человека (он меня не любил):

— А вы получаете жалованье?

Я думал, что вслед за моим ответом он прибавит:

— За что же это-с?

Но он только сухо ответил, что «ничего не знает», и уткнулся в свою разлинованную книгу, в которую с каких-то бумажек вставлял какие-то счета.

Ему, впрочем, небезызвестно было, что я кое-что и делал. Две недели назад я ровно четыре дня просидел над работой, которую он же мне и передал: переписать с черновой, а вышло почти пересочинить. Это была целая орава «мыслей» князя, которые он готовился подать в комитет акционеро-в. Надо было всё это скомпоновать в целое и подделать слог. Мы целый день потом просидели над этой бумагой с князем, и он очень горячо со мной спорил, однако же остался доволен; не знаю только, подал ли бумагу или нет. О двух-трех письмах, тоже деловых, которые я написал по его просьбе, я и не упоминаю.

Просить жалованья мне и потому было досадно, что я уже положил отказаться от должности, предчувствуя, что принужден буду удалиться и отсюда, по неминуемым обстоятельствам. Проснувшись в то утро и одеваясь у себя наверху в каморке, я почувствовал, что у меня забило сердце, и хоть я плевался, но, входя в дом князя, я снова почувствовал то же волнение: в это утро должна была прибыть сюда та особа, женщина, от прибытия которой я ждал разъяснения всего, что меня мучило! Это именно была дочь князя, та генеральша Ахмакова, молодая вдова, о которой я уже говорил и которая была в жестокой вражде с Версиловым. Наконец я написал это имя! Ее я, конечно, никогда не видал, да и представить не мог, как буду с ней говорить, и буду ли; но мне представлялось (может быть, и на достаточных основаниях), что с ее приездом рассеется и мрак, окружавший в моих глазах Версилова. Твердым я оставаться не мог: было ужасно досадно, что с первого же шагу я так малодушен и неловок; было ужасно любопытно, а главное, противно, — целых три впечатления. Я помню весь тот день наизусть!

О вероятном прибытии дочери мой князь еще не знал ничего и предполагал ее возвращение из Москвы разве через неделю. Я же узнал накануне совершенно случайно:



проговорила при мне моей матери Татьяна Павловна, получившая от генеральши письмо. Они хоть и шептались и говорили отдаленными выражениями, но я догадался. Разумеется, не подслушивал: просто не мог не слушать, когда увидел, что вдруг, при известии о приезде этой женщины, так взволновалась мать. Версилова дома не было.

Старику я не хотел передавать, потому что не мог не заметить во весь этот срок, как он трусит ее приезда. Он даже, дня три тому назад, проговорился, хотя робко и отдаленно, что боится с ее приездом за меня, то есть что за меня ему будет таска. Я, однако, должен прибавить, что в отношениях семейных он все-таки сохранял свою независимость и главенство, особенно в распоряжении деньгами. Я сперва заключил о нем, что он — совсем баба; но потом должен был перезаключить в том смысле, что если и баба, то все-таки оставалось в нем какое-то иногда упрямство, если не настоящее мужество. Находили минуты, в которые с характером его — по-видимому, трусливым и поддающимся — почти ничего нельзя было сделать. Мне это Версиров объяснил потом подробнее. Упоминаю теперь с любопытством, что мы с ним почти никогда и не говорили о генеральше, то есть как бы избегали говорить: избегал особенно я, а он в свою очередь избегал говорить о Версирове, и я прямо догадался, что он не будет мне отвечать, если я задам который-нибудь из щекотливых вопросов, меня так интересовавших.

Если же захотят узнать, об чем мы весь этот месяц с ним проговорили, то отвечу, что, в сущности, обо всем на свете, но всё о странных каких-то вещах. Мне очень нравилось чрезвычайное простодушие, с которым он ко мне относился. Иногда я с чрезвычайным недоумением всматривался в этого человека и задавал себе вопрос: «Где же это он прежде заседал? Да его как раз бы в нашу гимназию, да еще в четвертый класс, — и премилый вышел бы товарищ». Удивлялся я тоже не раз и его лицу: оно было на вид чрезвычайно серьезное (и почти красивое), сухое; густые седые вьющиеся волосы, открытые глаза; да и весь он был сухощав, хорошего роста; но лицо его имело какое-то неприятное, почти неприличное свойство вдруг переменяться из необыкновенно серьезного на слишком уж игривое, так что в первый раз видевший никак бы не ожидал этого. Я говорил об этом Версирову, который с любопытством

меня выслушал; кажется, он не ожидал, что я в состоянии делать такие замечания, но заметил вскользь, что это явилось у князя уже после болезни и разве в самое только последнее время.

Преимущественно мы говорили о двух отвлеченных предметах — о Боге и бытии Его, то есть существует Он или нет, и об женщинах. Князь был очень религиозен и чувствителен. В кабинете его висел огромный киот с лампадкой. Но вдруг на него находило — и он вдруг начинал сомневаться в бытии Божиим и говорил удивительные вещи, явно вызывая меня на ответ. К идее этой я был довольно равнодушен, говоря вообще, но все-таки мы очень завлекались оба и всегда искренно. Вообще все эти разговоры, даже и теперь, вспоминаю с приятностью. Но всего милее ему было поболтать о женщинах, и так как я, по нелюбви моей к разговорам на эту тему, не мог быть хорошим собеседником, то он иногда даже огорчался.

Он как раз заговорил в этом роде, только что я пришел в это утро. Я застал его в настроении игривом, а вчера оставил отчего-то в чрезвычайной грусти. Между тем мне надо было непременно окончить сегодня же об жалованье — до приезда некоторых лиц. Я рассчитывал, что нас сегодня непременно *прервут* (недаром же билось сердце), — и тогда, может, я и не решусь заговорить об деньгах. Но так как о деньгах не заговаривалось, то я, естественно, рассердился на мою глупость и, как теперь помню, в досаде на какой-то слишком уж веселый вопрос его изложил ему мои взгляды на женщин залпом и с чрезвычайным азартом. А из того вышло, что он еще больше увлекся на мою же шею.

### III

— ...Я не люблю женщин за то, что они грубы, за то, что они неловки, за то, что они несамостоятельны, и за то, что носят неприличный костюм! — бессвязно заключил я мою длинную тираду.

— Голубчик, пощади! — вскричал он, ужасно расселившись, что еще пуце обозлило меня.

Я уступчив и мелочен только в мелочах, но в главном не уступлю никогда. В мелочах же, в каких-нибудь светских

приемах, со мной бог знает что можно сделать, и я всегда проклинаяю в себе эту черту. Из какого-то смердящего добродушия я иногда бывал готов поддакивать даже какому-нибудь светскому фату, единственно обольщенный его вежливостью, или ввязывался в спор с дураком, что всего непростительнее. Всё это от невыдержки и оттого, что вырос в углу. Уходишь злой и клянешься, что завтра это уже не повторится, но завтра опять то же самое. Вот почему меня принимали иногда чуть не за шестнадцатилетнего. Но вместо приобретения выдержки я и теперь предпочитаю закупориться еще больше в угол, хотя бы в самом мизантропическом виде: «Пусть я неловок, но — прощайте!» Я это говорю серьезно и навсегда. Впрочем, вовсе не по поводу князя это пишу, и даже не по поводу тогдашнего разговора.

— Я вовсе не для веселости вашей говорю, — почти закричал я на него, — я просто высказываю убеждение.

— Но как же это женщины грубы и одеты неприлично? Это ново.

— Грубы. Подите в театр, подите на гулянье. Всякий из мужчин знает правую сторону, сойдутся и разойдутся, он вправо и я вправо. Женщина, то есть дама, — я об дамах говорю — так и прет на вас прямо, даже не замечая вас, точно вы уж так непременно и обязаны отскочить и уступить дорогу. Я готов уступить, как созданию слабейшему, но почему тут право, почему она так уверена, что я это обязан, — вот что оскорбительно! Я всегда плевался встречаясь. И после того кричат, что они принижены, и требуют равенства; какое тут равенство, когда она меня топчет или напихает мне в рот песок!

— Песку!

— Да; потому что они неприлично одеты; это только развратный не заметит. В судах запирают же двери, когда дело идет о неприличностях; зачем же позволяют на улицах, где еще больше людей? Они сзади себе открыто фру-фру подкладывают, чтоб показать, что бельфам; открыто! Я ведь не могу не заметить, и юноша тоже заметит, и ребенок, начинающий мальчик, тоже заметит; это подлю. Пусть любуются старые развратники и бегут высуня язык, но есть чистая молодежь, которую надо беречь. Остается плеваться. Идет по бульвару, а сзади пустит шлейф в полтора аршина и пыль метет; каково идти сзади: или беги обгоняй, или отскакивай в сторону, не то и в нос и в рот она вам пять

фунтов песку напихает. К тому же это шелк, она его треплет по камню три версты, из одной только моды, а муж пятьсот рублей в сенате в год получает: вот где взятки-то сидят! Я всегда плевался, вслух плевался и бранился.

Хоть я и выписываю этот разговор несколько в юморе и с тогдашнюю характерностью, но мысли эти и теперь мои.

— И сходило с рук? — полюбопытствовал князь.

— Я плюну и отойду. Разумеется, почувствует, а виду не покажет, прет величественно, не повернув головы. А побранился я совершенно серьезно всего один раз с какими-то двумя, обе с хвостами, на бульваре, — разумеется, не скверными словами, а только вслух заметил, что хвост оскорбителен.

— Так и выразился?

— Конечно. Во-первых, она попирает условия общества, а во-вторых, пылит; а бульвар для всех: я иду, другой идет, третий, Федор, Иван, всё равно. Вот это я и высказал. И вообще я не люблю женскую походку, если сзади смотреть; это тоже высказал, но намеком.

— Друг мой, но ведь ты мог попасть в серьезную историю: они могли стащить тебя к мировому?

— Ничего не могли. Не на что было жаловаться: идет человек подле и разговаривает сам с собой. Всякий человек имеет право выражать свое убеждение на воздух. Я говорил отвлеченно, к ним не обращался. Они привязались сами: они стали браниться, они гораздо сквернее бранились, чем я: и молокосос, и без кушанья оставить надо, и нигилист, и городовому отдадут, и что я потому привязался, что они одни и слабые женщины, а был бы с ними мужчина, так я бы сейчас хвост поджал. Я хладнокровно объявил, чтобы они перестали ко мне приставать, а я перейду на другую сторону. А чтобы доказать им, что я не боюсь их мужчин и готов принять вызов, то буду идти за ними в двадцати шагах до самого их дома, затем стану перед домом и буду ждать их мужчин. Так и сделал.

— Неужто?

— Конечно, глупость, но я был разгорячен. Они проталили меня версты три с лишком, по жаре, до институтов, вошли в деревянный одноэтажный дом, — я должен сознаться, весьма приличный, — а в окна видно было в доме много цветов, две канарейки, три шавки и эстампы в рамках. Я простоял среди улицы перед домом с полчаса.

Они выглянули раза три украдкой, а потом опустили все шторы. Наконец из калитки вышел какой-то чиновник, пожилой; судя по виду, спал, и его нарочно разбудили; не то что в халате, а так, в чем-то очень домашнем; стал у калитки, заложил руки назад и начал смотреть на меня, я — на него. Потом отведет глаза, потом опять посмотрит и вдруг стал мне улыбаться. Я повернулся и ушел.

— Друг мой, это что-то шиллеровское! Я всегда удивлялся: ты краснощекий, с лица твоего прыщет здоровьем и — такое, можно сказать, отвращение от женщин! Как можно, чтобы женщина не производила в твои лета известного впечатления? Мне, *mon cher*<sup>1</sup>, еще одиннадцатилетнему, гувернер замечал, что я слишком засматриваюсь в Летнем саду на статуи.

— Вам ужасно хочется, чтоб я сходил к какой-нибудь здешней Жозефине и пришел вам донести. Незачем; я и сам еще тринадцати лет видел женскую наготу, всю; с тех пор и почувствовал омерзение.

— Серьезно? Но, *cher enfant*<sup>2</sup>, от красивой свежей женщины яблоком пахнет, какое ж тут омерзение!

— У меня был в прежнем пансионике, у Тушара, еще до гимназии, один товарищ, Ламберт. Он всё меня бил, потому что был больше чем тремя годами старше, а я ему служил и сапоги снимал. Когда он ездил на конфирмацию, то к нему приехал аббат Риго поздравить с первым причастием, и оба кинулись в слезах друг другу на шею, и аббат Риго стал его ужасно прижимать к своей груди, с разными жестами. Я тоже плакал и очень завидовал. Когда у него умер отец, он вышел, и я два года его не видал, а через два года встретил на улице. Он сказал, что ко мне придет. Я уже был в гимназии и жил у Николая Семеновича. Он пришел поутру, показал мне пятьсот рублей и велел с собой ехать. Хоть он и бил меня два года назад, а всегда во мне нуждался, не для одних сапог; он всё мне пересказывал. Он сказал, что деньги утащил сегодня у матери из шкатулки, подделав ключ, потому что деньги от отца все его, по закону, и что она не смеет не давать, а что вчера к нему приходил аббат Риго увещевать — вошел, стал над ним и стал хныкать, изображать ужас и поднимать

---

<sup>1</sup> Мой милый (*фр.*).

<sup>2</sup> Дорогое дитя (*фр.*).

руки к небу, «а я вынул нож и сказал, что я его зарежу» (он выговаривал: загхэжу). Мы поехали на Кузнецкий. Дорогой он мне сообщил, что его мать в сношениях с аббатом Риго, и что он это заметил, и что он на всё плюет, и что всё, что они говорят про причастие, — вздор. Он еще много говорил, а я боялся. На Кузнецком он купил двухствольное ружье, ягдташ, готовых патронов, манежный хлыст и потом еще фунт конфет. Мы поехали за город стрелять и дорогою встретили птицелова с клетками; Ламберт купил у него канарейку. В роще он канарейку выпустил, так как она не может далеко улететь после клетки, и стал стрелять в нее, но не попал. Он в первый раз стрелял в жизни, а ружье давно хотел купить, еще у Тушара, и мы давно уже о ружье мечтали. Он точно захлебывался. Волосы у него были черные ужасно, лицо белое и румяное, как на маске, нос длинный, с горбом, как у французов, зубы белые, глаза черные. Он привязал канарейку ниткой к сучку и из двух стволов, в упор, на вершок расстояния, дал по ней два залпа, и она разлетелась на сто перушков. Потом мы воротились, заехали в гостиницу, взяли номер, стали есть и пить шампанское; пришла дама... Я, помню, был очень поражен тем, как пышно она была одета, в зеленом шелковом платье. Тут я всё это и увидел... про что вам говорил... Потом, когда мы стали опять пить, он стал ее дразнить и ругать; она сидела без платья; он отнял платье, и когда она стала браниться и просить платье, чтоб одеться, он начал ее изо всей силы хлестать по голым плечам хлыстом. Я встал, схватил его за волосы, и так ловко, что с одного раза бросил на пол. Он схватил вилку и ткнул меня в ляжку. Тут на крик вбежали люди, а я успел убежать. С тех пор мне мерзко вспомнить о наготе; поверьте, была красавица.

По мере как я говорил, у князя изменялось лицо с игривого на очень грустное.

— Mon pauvre enfant!<sup>1</sup> Я всегда был убежден, что в твоём детстве было очень много несчастных дней.

— Не беспокойтесь, пожалуйста.

— Но ты был один, ты сам говорил мне, и хоть бы этот Lambert; ты это так очертил: эта канарейка, эта конфирмация со слезами на груди и потом, через какой-нибудь год,

---

<sup>1</sup> Мое бедное дитя! (фр.)

## СОДЕРЖАНИЕ

### ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ . . . . .	5
ГЛАВА ВТОРАЯ . . . . .	22
ГЛАВА ТРЕТЬЯ . . . . .	42
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	62
ГЛАВА ПЯТАЯ . . . . .	79
ГЛАВА ШЕСТАЯ . . . . .	98
ГЛАВА СЕДЬМАЯ . . . . .	122
ГЛАВА ВОСЬМАЯ . . . . .	136
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ . . . . .	159
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ . . . . .	182

### ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ . . . . .	201
ГЛАВА ВТОРАЯ . . . . .	217
ГЛАВА ТРЕТЬЯ . . . . .	232
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	248
ГЛАВА ПЯТАЯ . . . . .	260
ГЛАВА ШЕСТАЯ . . . . .	278
ГЛАВА СЕДЬМАЯ . . . . .	292
ГЛАВА ВОСЬМАЯ . . . . .	311
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ . . . . .	331

### ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ . . . . .	349
ГЛАВА ВТОРАЯ . . . . .	363

ГЛАВА ТРЕТЬЯ . . . . .	382
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ . . . . .	401
ГЛАВА ПЯТАЯ . . . . .	422
ГЛАВА ШЕСТАЯ . . . . .	444
ГЛАВА СЕДЬМАЯ . . . . .	461
ГЛАВА ВОСЬМАЯ . . . . .	475
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ . . . . .	483
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ . . . . .	502
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ . . . . .	522
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ . . . . .	541
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ. ЗАКЛЮЧЕНИЕ . . . . .	557
Примечания. <i>Б. Н. Тихомиров</i> . . . . .	571



Литературно-художественное издание

**ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ**  
**ПОДРОСТОК**

Художественный редактор Валерий Гореликов  
Технический редактор Татьяна Раткевич  
Компьютерная верстка Алексея Положенцева  
Корректоры Елена Орлова, Людмила Ни  
Главный редактор Александр Жикаренцев

Знак информационной продукции  
(Федеральный закон № 436-ФЗ от 29.12.2010 г.):

16+

Подписано в печать 26.05.2018. Формат издания 75 × 100<sup>1/32</sup>.  
Печать офсетная. Тираж 3000 экз. Усл. печ. л. 26,79. Заказ №

ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“» —  
обладатель товарного знака АЗБУКА®  
115093, г. Москва, ул. Павловская, д. 7, эт. 2, пом. III, ком. № 1

Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»  
в Санкт-Петербурге

191123, г. Санкт-Петербург, Воскресенская наб., д. 12, лит. А

ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

04073, г. Киев, Московский пр., д. 6 (2-й этаж)

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат»  
143200, г. Можайск, ул. Мира, д. 93



[www.aoompk.ru](http://www.aoompk.ru), [www.aoompk.ru](http://www.aoompk.ru)

Тел.: (495) 745-84-28, (49638) 20-685

**ПО ВОПРОСАМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ОБРАЩАЙТЕСЬ:**

В Москве: ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (495) 933-76-01, факс: (495) 933-76-19

E-mail: [sales@atticus-group.ru](mailto:sales@atticus-group.ru); [info@azbooka-m.ru](mailto:info@azbooka-m.ru)

В Санкт-Петербурге: Филиал ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“»

Тел.: (812) 327-04-55, факс: (812) 327-01-60

E-mail: [trade@azbooka.spb.ru](mailto:trade@azbooka.spb.ru)

В Киеве: ЧП «Издательство „Махаон-Украина“»

Тел./факс: (044) 490-99-01. E-mail: [sale@machaon.kiev.ua](mailto:sale@machaon.kiev.ua)

Информация о новинках и планах  
на сайтах: [www.azbooka.ru](http://www.azbooka.ru), [www.atticus-group.ru](http://www.atticus-group.ru)

Информация по вопросам приема рукописей и творческого сотрудничества  
размещена по адресу: [www.azbooka.ru/new\\_authors/](http://www.azbooka.ru/new_authors/)



Y-AKB-18500-05-R